

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ

«ПОДЫМИТЕ МНЕ ВЕКИ...» И ДРУГИЕ ВИНЬЕТКИ

ВЕЗЕНИЕ

Хотелось бы сразу взять высокую ноту: типа там, что все удачливые люди похожи друг на друга, а каждый неудачник неудачлив по-своему, — но стоит ли? И главное, всё ведь зависит от точки зрения.

Себя я особенно везучим не считаю. Если оглянуться назад, то, как выражаются нарратологи, это была типичная цепь потерь и приобретений, или, говоря попросту, you win some, you lose some. Но знаю, что издали кажусь счастливым, с которого всё как с гуся вода: защитил — а диссертацию защитил; всё бросил, уехал — и неплохо устроился; загремел на машине с обрыва — отделался легким испугом и трещиной в позвонке.

Кстати, узнав про это удачное падение, один почитаемый старший коллега сказал мне, что в его родном языке есть соответствующая поговорка: «Ит из ин ёр бэд лак зет ю нид ёр гуд лак». Акцент был густой, но понятный, а какой родной язык имелся в виду, польский или идиш, я спросить постеснялся. В любом случае это звучало убедительно — наверное, благодаря эффектному контрасту. Ведь и proverbialный выход удачника сухим из воды — контраст, и моя любимая обратная поговорка о сироте, которого даже на верблюде змея ужалит, — тоже.

У нас с Ладой считается, что я — везучий, а она — нет, так что в среднем на душу населения нормально, жить можно. Лада чутко сопереживает жертвам судьбы и лелеет образы ее баловней. И вот на днях вдруг вспомнила историю с М., явившейся нам во всем блеске своей везучести.

Красавицу Машу (назову ее так) я знал с давних времен. Она происходила из славной ленинградской семьи, была умна, очаровательна, кружила голову поклонникам из обеих столиц, а эмигрировав в Канаду, работала по своей солидной специальности (а не новоиспеченным преподавателем русской литературы, чем любил колоть нам глаза ее муж-психиатр). До последнего времени она регулярно наезжала в Россию, где участвовала в организации

престижных чтений памяти своего отца. Бывала и в Санта-Монике, но не ради нас, а ради нашей заклятой ненавистницы С., умудряясь нежно дружить с обеими воюющими сторонами.

Но перехожу наконец к делу. Лет десять назад в Санта-Монике, совсем неподалеку от нас, в старом, часто пустовавшем кинотеатре проходил фестиваль итальянского кино. Заранее мы билетами не озаботились, но к кинотеатру пришли задолго до начала сеанса. Однако оказалось, что билетов в кассе нет — да в открытую продажу почти и не поступало: они были распределены среди местной итальянской публики. Что делать? По древней московской привычке мы стали спрашивать лишних билетиков, однако в небольшой толкучке перед входом спрос безнадежно превышал предложение. Я уже начал отчаиваться, когда услышал, что меня зовут по имени.

Это была Маша. Она ехала мимо, краем глаза увидела нас в толпе, решила поприветствовать, вышла из машины, и, пока она к нам протискивалась, ей предложили два билета (чуть ли не две бесплатные контрамарки), каковые она, лучезарно улыбаясь, и вручила нам.

— А ты сама не хочешь пойти?

— Нет, я прилетела вчера ночью, еду к знакомым, меня ждут. — Она тактично не сказала кто. — Рада была повидать вас обоих.

Мы обнялись, поцеловались, она побежала к машине, а мы направились в зал.

Вспомнив эту историю, Лада сказала:

— Вот везучесть! А виньетки такой ведь нет, это не записано?

— Нет, не записано. Но виньетка ли это? Что тут писать? Что Маше повезло с ненужными ей билетами?!

— Ну, на тебя не угодишь. Все-таки подумай.

Я думал, думал несколько дней — и надумал.

Надумал, что это таки да, виньетка, только не про Машино везение, хотя оно, что и говорить, подтвердилось. Но билеты ей и правда были ни к чему, а выдавать мимолетную встречу с нами за знак особой благосклонности к ней Фортуны я тоже не возьмусь.

Кому повезло, так это нам, Золушка отдыхает. Когда с билетами нам ничего уже вроде бы не светило и мы были готовы сдать, оказалось, что боги предусмотрительно подключили к делу фею Машу, перебросили ее из далекого Торонто в Санта-Монику, доставили в нужную точку в нужный момент, указали ей на нас в предсеансной толкучке, вселили в нее решимость вылезти — вопреки, полагаю, злобным возражениям С. — из машины, дали беспрепятственно сработать ее везучести, полюбовались моментальным превращением нашего бэд лак в гуд лак, после чего — мавр сделал свое дело, мавр может уйти — вернули ее в объятия С. и отправили далее по курсу.

ДЕВУШКА В ОКНЕ

Окно было в бельэтаже, и его можно было бы назвать вторым слева от угла, если бы этот дом (тогда — в далекие шестидесятые годы прошлого столетия — мрачно серый), «дом сброк», на противоположной от нашего скверика

стороне Остоженки (тогда Метростроевской), не перетекал в Померанцев переулок безупречно плавной дугой.

В летние месяцы окно было открыто настежь, и в нем часто и очень поэтично виднелась сидевшая на подоконнике брюнетка во всем черном — не то чтобы красивая, но задумчивая, печальная, загадочная. Порой, идя от метро по своей нечетной стороне, я с ней переглядывался, и между нами постепенно установился некий молчаливый контакт в никого ни к чему не обязывавшем, неопределенно томном романтическом ключе. Почему-то вспоминался рассказ Зощенко «Грустные глаза».

Но однажды в нашем полузнакомстве произошел поворот. Поздним вечером — собственно, уже ночью — я возвращался из гостей слегка навеселе, и в глаза мне бросился черный провал широко открытого знакомого окна. Я пересек пустынную улицу, потоптался под окном, вскарабкался на стоявшую там металлическую урну, но дотянуться до окна все равно не мог. Я слез, подтащил от соседнего дома еще одну такую же урну, взгромоздил одну на другую — и заглянул в окно.

Там горел ночник, при свете которого моя девушка читала в кровати. После легкого шока произошло узнавание, и я был приглашен внутрь.

В своей долгой на сегодня жизни я не только писал об окне у Пастернака, поэтической синонимии окна и двери, о типовых проникновениях — ветра, света, запахов, звуков, взглядов, веток — из законного пространства внутрь дома и о встречах маршрутах через окно наружу, но и сам, бывало, попадал в иные гостеприимные спальни когда через дверь, а когда и через окно, и, случалось, при лунном свете выпускал в окно гостью, вошедшую ко мне через дверь при солнечном. Непременным условием подобных ночных передислокаций был, как и в данном случае, бельэтаж, этот дышащий красотой и куртуазностью галлицизм. Но осуществлялись они всегда, как на родине, так в дальнейшем и на чужбине, исключительно по обоюдному, заранее достигнутому и тщательно продуманному взаимному согласию; здесь же имела место нахальная импровизация.

Так или иначе, предпринятый в алкогольном угаре штурм окна увенчался благодаря свойствам загадочной русской души успехом, но последующий любовный драг, увы, захлебнулся — в результате отрезвляющего столкновения с реальностью.

Винные пары рассеялись, потекла мирная беседа о том о сем, мы обсудили, что она читает, кто из нас где работает и чем дышит, и слово за слово выяснилось, что она серьезно больна, туберкулез легких... В памяти опять всплыли «Грустные глаза», и, несмотря на эротический флер, окутывающий зощенковскую героиню и галерею ее литературных предшественниц с камелиями, я услышал скрежет внутренних тормозов.

В подобной ситуации я оказывался в дальнейшем дважды. Один раз, когда был пленен знойной красавицей с киностудии «Экспортфильм», где подрабатывал дублированием на сомали, — вызывающе эффектной, с чувственными губами, ну, может быть, немного злоупотреблявшей косметикой и, как выяснилось, замужней, а впрочем, не чуждой соблазнам, ибо вскоре, несмотря на свои многообразные служебные и семейные обязанности, в умело

выкроенный двойной обеденный перерыв она явилась ко мне, стала, не мешкая, раздеваться и предстала передо мной во всей своей откровенной нагоде, стройная, желанная, доступная, но — покрытая мелкой коростой, чтобы не сказать броней, псориаза или какого-то другого кожного заболевания. Стала понятна разгадка ее густого грима и скоропалительной стговорчивости. Прикоснуться к ней я не смог, и мы кое-как расстались.

Другой сходный опыт был уже за границей. В поезде по пути во Флоренцию я познакомился с прелестной молодой итальянкой, охотно и даже как-то чересчур горячо откликнувшейся на мои донжуанские поползновения и с ходу назначившей мне свидание назавтра вечером где-то около il Duomo. Давка там была огромная, но мы в ней не разминулись, не потерялись, обнялись как уже старые знакомые, когда я, ощутив, что горячность ее рук достигла уровня наркотической лихорадочности, под вежливым предлогом отлучился и больше уже не возвращался. Допускаю, что мое исчезновение осталось незамеченным.

Но назад, к девушке из окна. Несмотря на определенный спад любовного накала, во всяком случае с моей стороны, кто знает, как развивался бы этот сюжет, если бы суровая реальность не вторглась в него вторично и еще более решительно.

В дверь позвонили, хозяйка пошла открывать. На пороге стояли два милиционера.

— Я милицию не вызывала, — сказала моя героиня.

— Под окном урна на урне, окно открыто, мы обязаны разобраться.

— Здесь всё в порядке, мы с приятелем дружески беседуем.

— Все равно он нарушил. Мы забираем его в отделение для составления протокола. Вы можете пойти в качестве потерпевшей.

Она пошла. Нас продержали почти до утра, но никаких обвинительных показаний от нее не добились, и дело кончилось ничем. Не имел продолжения и наш мимолетный, но здоровый, ибо абсолютно платонический, роман.

P. S. Вспомнил, что у меня уже есть виньетка с неудачными амурами и участием милиции. Она так и называется — «Militia et amor» и тоже кончается более или менее мягкой посадкой.

MARSHALL COHEN

Имя звучит внушительно, сразу и по-военному и по-библейски, но его носитель, многолетний декан нашего отделения гуманитарных наук (Dean of Humanities), был человек сугубо штатский и совершенно без понтов, начальственных или талмудистских. «Слуга царю, отец солдатам», он стал еще одной положительной отцовской фигурой моего не в меру затянувшегося детства-отрочества.

Когда я приземлился в Штатах, причем в слегка неожиданной роли слаvista, я, с моим пристрастием к каламбурам, не мог не отметить, что верховными главнокомандующими в этой области являются два еврейских маршала от кремлинологии: Маршалл Гольдман (1930—2017; Harvard) и Маршалл Шульман (1916—2007; Harvard, Columbia). Их имена и фамилии вторили друг

другу не только словесно, но и просодически (это двустопные хорей), родня их с такими обитателями мирового ареопага, как маршал Жуков, маршал Тито, маршал Сталин...

Этот могучий семантический ореол подсвечивался еще и лучами знаменитого плана Маршалла. А мое чуткое лингвистическое ухо услужливо отождествляло английское *marshall* с тоже воинственным *martial* (тут и *martial ardor*, «боевой дух», и *martial music*, «военная музыка», и *martial law*, «военное положение»), восходящим к древнеримскому богу войны, — а заодно и с *marchem*, правда, не в английском изводе (*march*), а во французском (*marcher*), и главное, немецком, ибо толстовском (*Die erste Kolonne marschiert...*). Так что имя нашего декана — Маршал(л) Коэн (Коген/Коган) — ложилось на хорошо подготовленную военную почву и звучало гордо.

Но все эти неприступные замки один за другим оказывались воздушными.

Начать с того, что генерал армии Джордж К. Маршалл (1880—1959), крупнейший военачальник рузвельтовских и труменовских времен, был вполне себе гоем, да и маршалство сосредоточивалось у него не в имени, а в фамилии. Еврейские же *Маршаллы* — типичный плод ассимиляторской апроприации подчеркнута арийских, по возможности командных — полководческих, викингских, варяжских, великокняжеских, военно-полевых — имен (вспомним многочисленных еврейских *Александров*, *Гарольдов*, *Говардов*, *Владимиров* и *Борисов*).

А при ближайшем этимологическом рассмотрении значительную часть воинского ореола теряет и само английское *marshall*, возводимое специалистами отнюдь не к Марсу (лат. *Mārs*, *Mārtis*), сыну Юпитера и Юноны, а к протогерманскому сочетанию **markhaz*, «конь, лошадь» + **skalkaz*, «слуга, работник», то есть в сумме — «конюх, конюший». Свой повелительский статус европейские *маршалы* приобрели ввиду решающей в те далекие времена стратегической роли рыцарской конницы, но не будем забывать об их словесном родстве с простецкой и гендерно неавантажной английской кобылой — *mare*.

Впрочем, в здешних демократических палестинах элитаристские замашки не приняты — разве что под флагом ностальгического интереса к старинной геральдике. Это там, в Старом Свете, воюют и правят командармы, маршалы, фельдмаршалы и генералиссимусы: Суворов и Кутузов, Мольтке и Шлиффен, Фош и Петэн, Паулюс и Роммель, Монтгомери, Жуков, Тито, Франко, Сталин... А когда дело доходит до спасительного американского вмешательства, то обнаруживается, что ничего выше генерала армии мы предложить не можем, будь то генерал Макартур или генерал Эйзенхауэр. И этого достаточно.¹

Наш Маршалл Коэн (род. в 1929 г.) был доступен, прост в обращении, демократичен. Профессионально он занимался философией, каковую преподавал на юридическом факультете (Law School). Гуманитарным отделением — и в дальнейшем всем Колледжем словесности, искусств и наук (College of Letters, Arts and Sciences) — он руководил с поистине философской терпимостью, а нашей кафедре славистики даже немного покровительствовал,

¹ Слово *marshall* в американском английском применимо и к местным реалиям, обозначая разного рода начальников среднего звена: судебных приставов, распорядителей парадов и т. п.; вспоминается российское *гофмаршал*.

поскольку любил русский балет, знал о Чайковском, Мережковском, Станиславском, Стравинском и Нижинском (не отсюда ли его благосклонность к человеку с моей труднопроизносимой фамилией?). Это под его эгидой нашей завкафедрой Ольге Матич удалось достроить скромную магистерскую программу до полноценной докторской. Ольге он симпатизировал как специалистке по Зинаиде Гиппиус. И вообще, он был миляга: толстый, смешливый и, что называется, наш человек.

Помню, как поделился с ним нашумевшей новостью об открытии израильских генетиков, которые обследовали репрезентативную группу лиц с разных континентов — носителей фамилий *Коган*, *Каган*, *Козн*, *Кахане*, *Кон* (*Cohn*), *Кун* (*Kuhn*), *Каганович*, *Кац* (сокращенное *Коген-цадик*) и т. п. — и установили, что они сходятся к единому прародителю, жившему как раз во времена Моисея и Аарона. А поделившись, поздравил с научной легитимацией его принадлежности к благородной династии Когенов.

— А-а, — отмахнулся Маршалл. — Какие Когены! Все эти фамилии давались на Эллис-Айленд!..

Тут бы и спросить его, почему родители назвали его Маршаллом, но я не решился. А жаль! Сейчас ему девяносто три, он давно на пенсии, мы не общались уже лет тридцать, и приставать с подобной антропонимикой как-то не с руки.

После него у нас сменилось несколько деканов, но ни один не годился Маршаллу и в подметки. Особенно ужасный контраст к нему явил Ховард Гиллман (Howard Gillman), профессор *political science* (не перестаю удивляться, как этому гаданию на кофейной гуще удалось добиться статуса *science*, то есть точной науки, в то время как литературоведение по-прежнему прозябает под маркой *literary scholarship*, а то и *literary criticism*!). Он, разумеется, тоже претендовал на репутацию культурного человека, но с переменным успехом. Единственный раз, когда мне довелось его слышать, он клялся в любви к русской литературе XVIII века, особенно Льву Толстому, которого якобы рекомендовал читать своим детям.

Отличился же он тем, что закрыл кафедру немецкой литературы — буквально по Щедрину: «Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки». В результате один из немецких профессоров уволился, двое других, пропрофессорствовавших в USC долгие годы, скоропостижно скончались, а несколько осиротелых преподавателей языка нашли прибежище на нашей кафедре (благо заведует ею носитель безупречно германской фамилии Seifrid).

Все гадали, чем Гиллман руководствовался в своем идиотском решении, многие пытались протестовать и противодействовать, но безуспешно: факт окончательного решения в USC немецкого вопроса остается фактом. Подорвало ли это репутацию Гиллмана? Ничуть. По истечении своего деканского срока он пошел на повышение — стал ректором (*Chancellor*) одного из соседних университетов (*University of California, Irvine*). Нам, конечно, полегчало, но за них страшновато.

Тем приятнее вспоминать о деканстве Маршалла.

Однажды я проигнорировал какую-то его инструкцию, а потом и вообще забыл о ней. Как вдруг меня зовут к кафедральному телефону:

— Алик! Вас разыскивает Маршалл!

Я подхожу, спрашиваю, в чем дело, и он начинает раздраженно говорить, что послал мне уже несколько memos (то есть меморандумов, но по-английски это краткое словцо звучит не так торжественно, скорее как что-то вроде записки — деловито, но не устрашающе). Я наскоро извиняюсь, обещаю исполнить что требуется, но он продолжает бурчать, повторяя, что послал мне столько-то memos... Это так на него непохоже, что я с ходу парирую:

— Дались Вам Ваши memos! Вы что, видите себя автором *Complete Memos of Marshall Cohen*?! — Кончаю уже на смехе... Он смеется в ответ — и инцидент исчерпан.

Вот такой декан, такой маршал, такой коген.

ИЗ ДЕРЬМА

Сервис в СССР принимал иногда самые неожиданные формы. Например, когда в 1967 году мы с Феликсом Дрейзиным (1935—1989) летели из Новосибирска на Международный симпозиум по машинному переводу в Ереван с пересадкой в Свердловске (ныне это опять Екатеринбург), то в тамошнем аэропорту я после долгих поисков убедился, что единственный мужской туалет временно закрыт — в связи с уборкой. Я занял место в хвосте довольно длинной очереди. Пока кончилась уборка, пока подошла очередь... Впрочем, я не очень волновался, так как полагал, что времени до отлета еще много.

Но оказалось, что я запутался в вычислениях с новосибирским, свердловским, ереванским и московским временем да еще был сбит с толку аэропортовскими часами, которые вообще стояли. Одним словом, когда я вышел из здания вокзала, я увидел Феликса, бегущего ко мне с криками через все поле аэродрома. Я тут же перепрыгнул через невысокую ограду и побежал ему навстречу.

— Уже убирают трап... Я еле уговорил стюардессу подождать... Где ты был? В сортире? Что ты там делал столько времени? Ну, знаешь, Жолковский, ты, наверное, на три четверти состоишь из дерьма!

Феликс был мастером обценного, как тогда еще не говорилось, юмора, ругать меня на все возможные корки составляло одно из его любимых развлечений, и я охотно посмеялся, а формулировку запомнил. Запомнил и благодарно лелею вот уже более полувека. Феликса давно нет, а словечко осталось. И я постепенно, как это бывает с классикой, оценил его глубину.

Я давно догадывался, что большая часть (чуть ли не 80 процентов) всего, что делается, говорится, пишется и производится, — это мусор, который надо уметь игнорировать. Но, когда — сравнительно недавно — я дерзнул поделиться этой мыслью с уважаемым коллегой, оказалось, что своего рода мусором является и эта моя мысль, но не потому, что она неверна, а потому, что уже сто с лишним лет назад, в 1897-м, была сформулирована итальянским социологом Вильфредо Парето (1848—1923) на доступном ему материале. Однако полноценного теоретического обобщения и признания (просвещенным меньшинством!) ей пришлось ждать пятьдесят лет —

аж до 1951 года, когда румынско-американский специалист в области менеджмента Джозеф Джуран (1904—2008!!!) ввел ее в мировой научный обиход в качестве «принципа, или закона, Парето». Впрочем, закон этот продолжает обсуждаться и уточняться; так, один из последователей Парето полагает более адекватным соотношение не 80/20, а 90/10.

Ну а если от привычного поношения окружающих перейти к менее утешительной критике собственного разума («на себя, кума, оборотиться»), то и получим «принцип Дрейзина» во всей его печальной неоспоримости. Контрольные полвека уже прошли.

ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ

Я люблю слова и постоянно работаю над обогащением своего словаря. За счет как очередных иностранных заимствований (*деконструкция, консенсус, маркетинг...*), так и новейших словечек блатного происхождения (*лохануться, стрёмно, кирдык...*). Буквально на днях услышал и стал осваивать оборот *фильтровать хрюканину*, идущий на смену недавней, казалось бы, новинке *фильтровать базар*.¹

Слово *дефенестрация*, очень богатое даже по меркам культурной девушки Фимы Собак, я узнал сравнительно поздно. Оно не только ласкает слух, но замечательно и самим фактом своего существования. Обозначаемое им явление было мне, конечно, знакомо, но о наличии соответствующей лексической единицы я долгое время не догадывался.

Ведь не у всего сущего есть свое особое наименование. Знаменитые случаи безымянных реалий — внутренние стороны / сгибы локтя и колена², и к ним можно добавить переход от щеки к мочке уха. Действительно, для впадины между лбом и носом имеется существительное *переносица*, но чего-нибудь вроде *перушицы* или *перемочицы* язык не предлагает.

Так и с *дефенестрацией*: она, слава богу, с некоторых пор есть, а, скажем, *инфенестрации* никакой всё нет. Опять-таки соответствующее реальное явление всем известно, но специальной лексемы для него (как и положения Уголовного кодекса) не придумано, и приходится справляться своими словами.

О ярком случае дефенестрации гремела, не употребляя этого слова, советская пропаганда в годы моего отрочества, когда бывший министр обороны США Джеймс Форрестол погиб в результате выпадения из окна шестнадцатого этажа военного госпиталя (май 1949 года). То есть выпал-то, точнее выбросился, он, уже будучи в отставке и на лечении, но изображалось это так, будто американское военное ведомство возглавлял душевнобольной, который был помешан на советской угрозе и, летя вниз, кричал: «Танки! Танки! Русские пришли!!!» Незабываемый кадр!

Строго говоря, это была не *дефенестрация*, то есть предание смерти путем насильственного выбрасывания из окна, а *автодефенестрация*, то есть аналогичный способ самоубийства, но эти лексикографические познания я приобрел

¹ *Хрюканина* хороша тем, что опирается, с одной стороны, на *свинину* и *буженину*, а с другой — на *писанину*.

² Хотя некоторые словари дают полупризрачные *подколенки* (мн. ч.), реже — *подколенка* (ж. р.) и *подколенок* (м. р.).

лишь полвека спустя, уже живя на родине несчастного Форрестола.¹ Как я вышел на *дефенестрацию*, не помню, но помню, что заодно овладел тогда и еще одним сходным термином, *дефорестация*, обоими в их англоязычных ипостасях, — русских эквивалентов у них сначала вроде бы и не было.²

Как сегодня легко узнать из «Википедии», первые лингвистически знаменательные дефенестрации относятся к эпохе Возрождения, причем две важнейшие произошли в Праге в 1419-м, а затем, уже как бы по традиции, в 1618 году.³ Это роскошное слово происходит от латинского *fenestra* («окно») и вроде бы естественно становится в ряд таких, как *дематериализация*, *деперсонализация*, *дезинфекция*... С той, однако, разницей, что латинский корень *фенестр-*, следующий за негативной приставкой *де-*, среднему носителю русского (да и английского) языка не знаком — в отличие от *персон-*, *матер-*, *инфек-*. А это делает *дефенестрацию* гораздо более непрозрачной, загадочной, экзотичной — подобно еще одной жемчужине нашего словаря — *декапитации*. У последней есть, однако, простой русский синоним *обезглавливание*, тогда как *дефенестрация* стоит совершеннейшим особняком. Сымпровизированная мной *инфенестрация*, «проникновение в дом путем залезания через окно», обыгрывает морфологическую непрозрачность *дефенестрации* и адресована не среднему носителю языка, а исключительно моим продвинутым читателям.

Кстати, *инфенестрации*, *infenestration*, нет и в английском, хотя соответствующее деяние правоохранительным органам, да и широкому читателю, хорошо известно. Классический эпизод — просовывание Биллом Сайксом щуплого Оливера Твиста в узкое оконце ограбляемого дома добрейшей Роз Мейли.⁴

А в американской жизни распространенной практикой является залезание хозяина, забывшего ключи, через окно в свой, увы, предусмотрительно запертый им же дом. Разумеется, в таком случае следует говорить не об *инфенестрации*, а об *автоинфенестрации*. И, как часто бывает, словесные тонкости могут приобретать серьезный юридический смысл.⁵

Пару раз прибегнуть к такому способу попадания в собственную квартиру (вернее, в разное время в две разные квартиры, обе в Санта-Монике) довелось и мне, и я хорошо помню, что к страху сорваться вниз (то есть, по сути, позорно опуститься до дефенестрации) примешивался отчетливый страх быть пойманным полицией. К счастью, со мной не случилось ни того ни другого, и с тем большим интересом я наблюдал в дальнейшем (в июле 2009 года)

¹ Он, кстати, был сторонником более решительной поддержки Штатами новообразованного Израиля — вопреки позиции всесильного госсекретаря Герберта Маршалла (автора известного плана). Наш человек!

² Это помню потому, что усвоению двух новых лексем помог немедленно пришедший в голову идиотский каламбур об уникальном совмещении в одном прыжке *дефенестрации* с *дефорестацией*.

³ См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8; об итальянских дефенестрациях XV века см.: <https://maxgorbunov.livejournal.com/343988.html>. Иногда дефенестрации предшествует умерщвление жертвы иным способом, в некоторых случаях — путем декапитации.

⁴ Особым подтипом инфенестрации можно считать проникновение в чужой дом через окно с любовными целями (ср. в этой связи виньетку «Девушка в окне» выше в настоящей подборке).

⁵ Недаром во всех случаях, подобных смерти Форрестола, властями предусмотрительно констатируется самоубийственный, а не насильственный характер произошедшего.

за развертыванием большого политического скандала вокруг попытки автотинфенестрации, предпринятой гарвардским профессором Генри Луисом Гейтсом, который был-таки схвачен полицейскими, долго перед ними оправдывался, а затем на них же и пожаловался. Острый резонанс этому реалити-шоу придало его цветное решение: жертвой белых полицейских опять оказался афроамериканец! Примирение сторон состоялось ни больше ни меньше, как в Белом доме, под эгидой первого чернокожего президента США.

Но — назад к языковым особенностям *дефенестрации*. Приставка *де-* играет в ней не ту же семантическую роль, что в *декапитации*, *деперсонализации* и т. п. Ее негативность состоит вовсе не в *отнятии*, *отсекании* у ее объекта того, что обозначено корнем, то есть не в *обез-окнении* (по образцу *обез-главливания* и *обез-личивания*), — если бы это было так, *дефенестрация* означала бы что-то вроде *замуровывания окон*. Здесь *де-* выступает в несколько ином повороте, означающем *движение от, из, прочь* — как в *депортации*, *девиации*, *дефекации*. В русском языке это скорее непродуктивно (по сравнению с английским, где, например, для схождения поезда с рельсов легко образуется глагол *derail*), и потому на наш слух *дефенестрация* звучит еще самовитее. А негативность, конечно, никуда не девается, просто обеспечивается она не самой приставкой, а всей складывающейся печальной ситуацией в целом.

Примечательно, как уже говорилось, само наличие специального слова для подобного довольно-таки редкого типа казни. В ходе французской революции, а затем по ее примеру и большевистской, систематически практиковалось умерщвление «бывших» путем выбрасывания их за борт корабля, с для верности привязанным к телу тяжелым грузом. Имелся и русский народный прецедент — бросание Стенькой Разиным персидской княжны «в набежавшую волну», позднее освоенный русскими футуристами на металитературном уровне применительно к русской классике, бросавшейся ими с парохода современности (но каким-то образом уцелевшей и ожидающей ныне очередной «отмены»).¹ Так вот, я это к тому, что бросание с пароходов есть, а соответствующего удобного существительного нет. Не исключаю, что из-за отсутствия подходящего латинского корня. Ведь русотяпская *декораблизация* или там *депароходизация* явно не пойдут.² Напрашивается *дебортация*, но ввиду все более укореняющегося употребления слова *борт* в значении «самолет» *дебортации* угрожает омонимия, ибо в некоторых странах до недавнего времени расправа с нежелательными элементами осуществлялась путем сбрасывания с самолета.³

Нет и специального слова для самоубийства путем спрыгивания с Эйфелевой башни, в свое время популярного (с 1889 года его совершили в общей сложности 370 человек), но последнее время успешно предотвращаемого двухметровыми барьерами. *Автодезэйфелизация?*

¹ Об этом я уже писал, см. статью «Сбросить или бросить?» в НЛО (2009. № 2. С. 191—211); <https://magazines.gorky.media/nlo/2009/2/sbrosit-ili-brosit.html>.

² Впрочем, даже в старые времена иногда обходились без латыни. Так, одна из форм принятого в европейском, в частности голландском, флоте телесного наказания, обычно кончавшегося смертью, состояла в протаскивании осужденного под килем корабля, и описывалась она простым словом *kielhalen* (*нидерл.*), *keelhauling* (*англ.*), *килевание* (*рус.*).

³ См.: https://en.wikipedia.org/wiki/Death_flights.

АКТЕРЫ И РОЛИ

На днях решили для разнообразия посмотреть не новейший русский или западный сериал, а надежный старый детектив и выбрали «Death on the Nile» (1978). Разумеется, мы когда-то уже смотрели его — ну и что? Классика — дело верное.

Агата Кристи, Эркуль Пуаро, аристократы, миллионерша, круиз, великий сфинкс, пирамиды, Луксор, Карнак, Рамзес, крупные планы, многозначительные диалоги (теперь они идут титрами на компьютерном экране, так что ни слова не пропадает) и звезды, звезды, звезды: Питер Устинов, Миа Фэрроу, Дэвид Нивен, Бетти Девис, Мэгги Смит, Лойс Чайлз, Джейн Биркин, Анджела Лэнсбери... Даже закрадывается подозрение — по известной формуле: не слишком ли много герцогинь?

В любом случае мне просмотр обещал особый кайф. Последнее время я присматриваюсь к сюжетам с персонажами-«текстовиками» — писателями, переводчиками, критиками, читателями, актерами (на сцене и в жизни), разнообразными трикстерами и т. п. В детективах такое представлено очень щедро: преступник подобен писателю, сочиняющему сюжет (и актеру, его разыгрывающему), сыщик — литературоведу, это анализирующему, а остальные персонажи — читательской массе, которая жаждет разгадки и внимает ей. Творческий дуэт преступника с сыщиком помогает автору развернуть головокружительную интригу — на радость читателям и в назидание нарратологам.

Но фильм разочаровал.

Начать с того, что дородный Питер Устинов не годится на роль юркого толстячка Пуаро, с его ироикомическим именем Hercule (Геркулес), несолидной фамилией (в которой к французской груше, *poire*, контрабандой, вопреки словарям, прибавлен уменьшительный суффикс *-ot*) и упором на *little grey cells* (маленькие серые клетки (*англ.*)). Нет в его Пуаро и ничего специфически бельгийского, проглядывает скорее корпулентный англичанин смешанных российско-немецких баронско-купеческих кровей, член престижного клуба сэра Питера Устинова (1921—2004).

И ведет себя этот Пуаро как-то неумно, что, конечно, вина не актера, а автора (Агаты Кристи) и сценариста (Энтони Шеффера). Он то обращает нравоучительные предупреждения к будущей преступнице (тогда как, если уж он что-то понял, ему и карты в руки: не проповеди читать, а предотвращать преступление), то умничает в обществе своего сюжетно совершенно избыточного приятеля-полковника (которого играет Дэвид Нивен), а все остальное время занят тем, что обстоятельно объясняет по очереди каждому из ошибочно подозреваемых им персонажей, что тот имел полную возможность совершить убийство красотки-миллионерши Линнет Риджуэй (актриса Лойс Чайлз), и режиссер (Джон Гиллермин) наглядно реконструирует для зрителей эти альтернативные мизансцены.

Ложные версии, как водится, призваны оттенять подлинную, увы, гораздо менее правдоподобную — и тем менее, что подается она в качестве безупречно спланированной убийцами задолго до круиза. Но к этой своей неубедительной разгадке великий сыщик приходит лишь после того, как главная преступница, Жаклин де Бельфор (Миа Фэрроу), успевает устранить

двух свидетельниц: одну она снайперски отстреливает издалека, другой, не забрызгавшись, перерезает горло в ближнем бою. После чего Пуаро, со свойственной ему высокомерной небрежностью, позволяет ей прямо у него на глазах застрелить своего сообщника и, до кучи, застрелиться самой. (Пять трупов — больше, чем в финале «Гамлета».)

Напрашивается предположение, что Устинов намеренно подрывает образ Пуаро, изображая его самодовольно важничающим, неповоротливым тупицей. Но по всему видно, что подобная смелая деконструкция вряд ли входила в замыслы создателей фильма и должна остаться на моей интеллектуальной совести.

А мысль о сотворчестве персонажей-трикстеров с реальным автором — увы, не более чем научная метафора, так что ждать от Пуаро помощи в построении интриги Агата Кристи может лишь в меру собственных дарований. А тут уж как кому повезет. Пушкин, например, с гордостью рассказывал про «штуку, которую удрала» с ним его Татьяна — замуж вышла. С авторами «Смерти на Ниле» нелепую «штуку удирает» один из второстепенных персонажей, тоже пытающийся отделаться от миллионерши Линнет. Забравшись на гигантскую колонну древнего храма, он сталкивает оттуда тяжеленный камень и, естественно, промахивается. Вообще, на жизнь, имущество и достоинство богачки так или иначе покушаются многие персонажи, но, к чести авторов, идея экспроприации экспроприаторов последовательно отвергается в фильме.

Но вернемся к сэру Питеру, с которым мне однажды случилось встретиться лично — в один из первых моих приездов в Москву после перестройки. Это был самый конец суматошных восьмидесятых, и мы с Ольгой оказались в гостях в каком-то очень космополитичном доме, где был и Устинов, как раз начавший ездить в Россию и писать о ней. Ничего знаменательного, кроме тщеславного воспоминания о знакомстве с селебрити, я из этой встречи не вынес, не помню даже, на каком языке шел разговор. (Зато помню, что мы с Ольгой, как фон-бароны, перемещались тогда по Москве на машине, нанятой на целый день и либо ожидавшей у подъезда, либо приехавшей за нами в назначенный час.) Книжку Устинова я с тех пор так и не прочел, но, судя по критическим отзывам, к российским реалиям он отнесся с меньшей проницательностью, чем маркиз де Кюстин.

Так что мысль, что в «Смерти на Ниле» он сыграл не столько Пуаро, сколько самого себя, задним числом не кажется мне несправедливой. Кстати, аналогично поступила и исполнительница роли главной злодейки Миа Фэрроу — с блестящим, на мой взгляд, успехом.

По сюжету ее роль строится на том, что бедная, несчастная, теряющая возлюбленного и говорящая отчаянно жалостным голосом страдалница оказывается расчетливой, коварной и беспощадной манипуляторшей. Вариациями на тему «пассивности»/«агрессивности» предстают героини Фэрроу и во многих других фильмах, включая поставленные ее многолетним бойфрендом Вуди Алленом. Ту же архетипическую роль она сыграла и в истории своих с ним отношений, в результате чего он оказался практически изгнан из американского истеблишмента и вынужден жить и работать в Европе.

Впрочем, тут я залезаю на совершенно другую, хотя не менее волнующую территорию. Как-то так получается, что в Европу в конце концов

переезжают — эмигрируют? — многие великие американцы: Генри Джеймс, Томас Элиот, Чарли Чаплин, Владимир Набоков, Стэнли Кубрик, Роман Полански, Вуди Аллен... А неровен час, пиши он сегодня, уехал бы, пожалуй, и Марк Твен, создатель незабываемого образа негра Джима. Что за дела? Я — сюда, а они — отсюда?! И не в кино, а в самой настоящей жизни.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ, ИЛИ БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

Засыпать становится с годами все трудней. Помогают разнообразные онлайн-дискусии и аудиокниги: под их мерное звучание я — как говаривала в радиопередачах моего детства Мария Миронова (мать тоже уже покойного Андрея), игравшая претенциозную мещанку, — буквально куда-то проваливаюсь.

Недавно прослушал — в три приема, с перерывами на непреодолимый сон — незнакомую мне дотоле новеллу Мопассана «Волосы». И сразу подумал, как она похожа на «Граматику любви» Бунина — то есть, конечно, наоборот: как более поздний бунинский сюжет (1915) похож на мопассановский (1884).

Такая находка всегда радость, но, как правило, смешанная с горечью. Хочется немедленно заорать во весь голос: «Эврика!», «Интертекст!», «Я знаю, я!!!» Написать об этом эффектных полстраницы, ну полторы — и почить на лаврах.

Но нельзя.

Сначала надо убедиться, что никому до тебя это в голову не приходило (вроде бы нет, но как знать?!) и что Бунин в России реально читал по-французски (судя по всему, да), а лучше бы, что «Волосы» были своевременно переведены на русский (как удалось установить с библиокомпьютерной подсказки одной любимой читательницы, таки да, были — аж в 1909 году). Казалось бы, всё, можно уже писать, но, как учит долголетний опыт, эссе, виньеткой, миниатюрой не отделаешься, изюма из, по слову любимого поэта, «жизни сладкой сайки» не выковыряешь.

Потому что сходство есть, но неполное, да и не такое уж очевидное; его нужно выявлять и доказывать, а различия оговаривать. И руки не то чтобы опускаются, нет, напротив, напрягаются, готовясь натягивать — с применением всей доступной литературоведческой техники — один текст на другой. Перефразируя еще одного любимого поэта, в науке «трудная немолодая жизнь»... Сомневаться в успехе не приходится — сам М. Л. Гаспаров сказал, что если Жолковский захочет что-нибудь связать, то не беспокойтесь, свяжет. Но это будет не букет изящных абзацев, а очередная статья, тяжеловесная и нечитабельная.

Главное, сходство бесспорное: обсессивная (вплоть до фетишизма) и разительная (передающаяся рассказчику) страсть к давно покойной женщине. Но и различия нешуточные: у Бунина конкретная женщина в рассказе есть — загадочная Лушка, а у Мопассана нет — налицо только неизвестно чьи женские волосы! В детали пускаться не стану, сошлюсь лучше на смолоду запавшие в душу слова видного физика, академика Л. И. Мандельштама (1879—1944), однажды даже номинированного на Нобелевку (1930).

Рассказывал мне о нем мой отчим Л. А. Мазель (1907—2000) примерно так:

Мандельштам сидит на даче в кругу знакомых. Одна дама обращается к нему с просьбой:

— Леонид Исакович, объясните нам, пожалуйста, как работает телеграф, проволочный и, если можно, беспроволочный.

А Мандельштам специалист как раз по радиофизике.

— Ну что ж, — говорит он, — это очень просто. Начнем с проволочного и возьмем вот эту, сидящую между мной и Вами собаку. Хорошая, хорошая псина!.. — Академик гладит собаку. — Но если я стану дергать ее за хвост, она залает. И вы там, на другом конце собаки, это услышите. А теперь представьте себе, что вместо собаки у нас телеграфные провода, и вы получите проволочный телеграф. Понятно?

— Понятно — и как просто! А беспроволочный?

— Ну это еще проще: то же самое, только без собаки.

Папа не говорил, присутствовал ли он при этом разговоре и вообще был ли лично знаком с Мандельштамом. Возможно, что и был, — ведь одновременно с консерваторией он окончил физмат МГУ и дружил со многими математиками и физиками.

Возвращаясь к сравнительной «грамматике любви» в рассказах Мопассана и Бунина, у первого — то же, что у второго, «только без собаки».

Как я и обещал, всего страничка с небольшим! А за полномасштабную статью, конечно, со временем возьмусь, но без спешки, тем более что приоритет уже, можно сказать, застолблен.

«ПОДЫМИТЕ МНЕ ВЕКИ...»

Человек я трудный, со мной не все коллеги здороваются, даже не все бывшие соавторы, не говоря уже о тех, кто замечать меня не обязан — и не замечает. Тем больше согревало меня неизменное, с давних пор и до самого последнего времени уважительное внимание одного из наших виднейших филологов, признанного классика в своей области. Я не называю его по имени, чтобы неизбежно амбивалентной пуантой своей виньетки не бросить ненужной тени на его светлый образ, да и дело ведь не лично в нем, а, увы, в нашем общем human condition¹ и проблемах с коммуникацией.

Он был старше меня почти на десяток лет, я у него не учился, ничего совместно с ним не писал и не делал — знакомство было сугубо шапочным, но всегда дружеским. Подразумевалось, что мы друг про друга знаем, работы друг друга почитываем, незапланированным встречаем — то в Москве, то в Питере, то в Стэнфорде, то опять в Москве — радуемся... Иногда мы просто с улыбкой кивали друг другу, иногда обменивались парой слов, контакт явно был, и я чувствовал себя членом какого-то одного с ним джентльменского клуба.

А несколько лет назад у него начал наклеиваться солидный юбилей, и ему стали готовить фестшрифт, в который, к моему приятному удивлению, позвали и меня. Уж не он ли сам пожелал видеть меня в числе участников? Я охотно откликнулся, статью подал, редакторша, одна из его учениц,

¹ Вот тут бы и назвать его очень значащую фамилию.

заботливо над ней поработала, сжатые сроки были соблюдены, и том успевал выйти к моменту торжественного заседания в университете, где он работал. А я как раз оказался в Москве (у меня были дела в этом университете) и воспользовался случаем поприсутствовать на чествовании.

Но все пошло не так гладко, как хотелось. Прежде всего, с трудом отыскав зал, где должно было проходить заседание, я не обнаружил ни малейших признаков приближения того, что в структурно-математических кругах некогда называлось *состояемостью*. Я затревожился, стал бегать и звонить туда и сюда, опрашивать знакомых, наконец связался с редакторшей и узнал, что я непростительно обсчитался: ошибся на целых два часа, по истечении которых заседание таки началось — вовремя.

К этому моменту в зале появилась редакторша и вручила мне мой авторский экземпляр фештшрифта, оказавшегося довольно-таки внушительным. Менее внушительным я нашел тираж, обозначенный в конце книги, — 500 экземпляров. Я спросил, не маловато ли, и получил ответ: да нет, ничего, но, увы, полностью и он не отпечатан и, возможно, отпечатан не будет, теперь такие порядки, юбиляру и авторам, наверное, хватит, а дальше загадывать не приходится.

Я сидел в последнем ряду огромного амфитеатра, у верхнего входа, и мне был хорошо виден весь раскинувшийся подо мной зал, со столом президиума и трибуной в центре, а у нижней двери справа — сам виновник торжества и рядом с ним сопровождавший его наш общий молодой коллега. Почтенные ораторы сменяли друг друга, пространно восхваляя юбиляра и его заслуги перед наукой и обществом, церемония затягивалась, я начал ерзать, но вот наконец на трибуне появилась хрупкая фигурка юбиляра, и он усталым, еле слышным голосом поблагодарил выступавших и всех собравшихся. Потом он вернулся на свое место у самого выхода, и наступил небольшой перерыв (у заседания была еще и деловая повестка), которым я воспользовался, чтобы спуститься вниз, лично поприветствовать юбиляра и откланяться.

Протиснувшись сквозь публику, я приблизился к нему, поклонился и на всякий случай представился:

— Жолковский. Здравствуйте... — я назвал его по имени-отчеству. — Очень рад видеть вас в добром здравии и в такой знаменательный день.

Не последовало никакой реакции. Он даже не поднял на меня глаза.

Наш молодой коллега улыбнулся мне и громко повторил:

— Это Жолковский.

— Жолковский в Калифорнии, — не поднимая глаз, дал справку юбиляр. Делать было нечего, я поклонился еще раз и покинул помещение.

Такова была эта поразительная встреча/невстреча, вскоре оказавшаяся, как я и опасался, нашей последней.

Встреча — поскольку, хотя очная ставка не удалась, какое-никакое (и не столь уж неверное) знание о моем существовании было все-таки проявлено. А не встреча — возможно, потому что в том мире, на пороге которого мой собеседник уже стоял и куда с тех пор переселился, смотреть на нас, еще отбрасывающих тень, не принято.

Но недалеко и до окончательной встречи, на началах полной взаимной видимости.